30.11.95.

Кафка Франц

Общая газ. – 1995. – 30 нояб. – с. 10.

Чужой. Канонизация

Франц Кафка. Собр. соч. в 4-х томах, СПб., «Северо-Запад»

ВЫШЕЛ самый полный Кафка по-русски. Четыре компактных томика, вместивших практически все: романы – из них, правда, лишь один, и то не без оговорок, может быть признан законченным, – новеллы, причем сборники «Созерцание», «Сельский врач» и «Голодарь» даны в авторской редакции, автор с его вечной неуверенностью в своих творческих силах страшился перечитывать себя. И еще притчи, афоризмы. И еще произведения в том жанре, который лишь приблизительно характеризуется определением «письмо», принадлежащим самому писателю.

Хотя это ведь и правда послания, теперь воспринимающиеся большей частью как кредо, чуть ли не как манифест, но исходно предназначенные лишь самым близким людям, которые были адресатами. Отцу, владевшему небольшим делом и мечтавшему видеть Франца наследником семейной традиции, предполагавшей прочность верований, ясность ориентиров, абсолютно невозможную для сына. Фелице Браун: она была невестой Кафки, но помолвка дважды расстраивалась без видимых причин. Наконец, Милене Есенской. Эта чешская журналистка появилась в жизни Кафки под самый конец, но мысль о браке все так же внушала ему трепет пополам с ужасом. И он умер одиноким.

Достаточно прочесть эти объяснения Кафки с теми, кого он любил, – или, может быть, прежде всего с самим собою? – чтобы стало понятно, отчего так знаменателен факт выхода его собрания сочинений. Ведь, помимо прочего, собрание означает его канонизацию наконец-то и у нас, когда он, при жизни напечатавший совсем немного и никем, собственно, не оцененный, уже повсюду признан крупнейшим современным классиком. Мы, как водится, сильно запоздали, у нас Кафка оставался едва ли не под запретом весь советский период, и библиофилы гонялись за почти недоступным однотомником 1965 года, изданным с целью парировать упреки в литературной провинциальности, звучавшие на международных форумах. А вовсе не за тем, чтобы пойти навстречу запросам отечественной публики. У нас нужно было бороться за то, чтобы Кафку «разрешили». Теперь это кажется абсурдом в духе его фантазий, но абсурд был реален до неотвязчивости, как реальны и сами эти кафкианские кошмары, в которых столько будничного, прозаичного, опознаваемого.

Четырехтомник, как и прошлогодний трехтомник «Худлита» в координации с харьковским «Фолио», засвидетельствовал окончательный триумф в этой много лет не прекращавшейся битве. Но вот станет ли он и свидетельством читательского триумфа австрийского прозаика в русской среде? Об этом пока можно только гадать. Очень понятно, отчего так сопротивлялся публикациям Кафки советский официоз, безошибочно чувствуя, что тут нечто органически несовместимое с тоталитарностью в любых ее проявлениях. Кафку запрещали, даже не считаясь с тем, что он, современник 1917 года, впрямую не касался материй, ставших злободневными после этого перелома. Не считаясь со смехотворностью ситуации, когда знаменитая притча «В исправительной колонии» настораживала охранителей, воспринимавших ее как посягательство на систему, именуемую реальным социализмом. И получался эффект самопроизвольного узнавания, когда нечего пенять на зеркало.

Для официоза – любого официоза, вообще для сознания, убежденного в своей исключительной правоте и навязывающего эту правоту остальным, причем не аргументами, а принуждением, – Кафка был и всегда останется неприемлемым. Он чужой по крови, он просто осознает мир и человека в совершенно иных категориях. Но эта несовместимость замешана, если вдуматься, не на идеологии. Кафка чужой в толпе. Он всегда маргинал, а точнее сказать, одинокое существо, мучающееся этой своей изолированностью от всех и тем, что, по выражению Милены, он словно «голый среди одетых». Казнящийся, но неспособный тут что бы то ни было исправить или переменить.

Этим-то, своей особостью, изолированностью от большинства, всегдашней своей недоверчивостью, неуверенностью, вопрошанием и сомнением, когда торжествует иллюзия обретенной истины и безусловной цели, он для нас, столь доверчивых к таким иллюзиям, столь привычных к коллективистскому мышлению и к стереотипам, владеющим массами, особенно важен – но и особенно труден для настоящего, не поверхностного понимания. Канонизируя его как писателя, мы ведь не просто выправляем вывихи в сложившейся системе литературных ценностей и приоритетов. Мы как бы принимаем некий тип сознания, некий человеческий тип, который по всему ходу истории, и прежде всего советской, остается пока еще чужеродным или, по меньшей мере, непривычным для отечественного менталитета. Возникнет ли тут настоящий диалог? Преодолеется ли ощущение странности или даже чуждости, которое, отдавая должное Кафке как писателю, так часто испытывают его русские поклонники?

Бог весть. Во всяком случае, теперь для того, чтобы началось настоящее постижение – и, возможно, настоящее сближение, – сделано все необходимое. И сделано, в сущности, одним человеком, Евгенией Кацевой, составителем, переводчиком дневников, одним из основных комментаторов четырехтомника, завершившего ее сражение за русского Кафку, длившееся четверть века с лишним (помню ошеломление, которое я испытал в конце 60-х, читая по рукописи эти дневники, тогда не имевшие ни единого шанса на публикацию, хотя соломы – предисловий, послесловий – был заготовлен целый воз). Е. Кацева переводила и других – не кого-нибудь, а Брехта, Фриша, теперь вот Грасса. Но Кафка для нее воистину дело жизни. И оно исполнено.

Алексей ЗВЕРЕВ